

Лаура Цаголова

г. Москва



Воспоминание ничейной

Оркестр духовой.
Любимая пластинка.
Дослушать – не судьба.
Судьбу нельзя дразнить.
И папина щека.
И мамина слезинка,
по папиной щеке
готовая скользнуть.

Его:

– Не провожай,
на улице прохладно...

Её:

– Не горячись,
себя побереги...
И летний сквознячок
на лестнице в парадной.
И верных голубей
почётные круги.

Зачем-то будний день
по-праздничному светел,
звенят на стариках
царёвы ордена,
за строем молодых
вышагивают дети,
оценивая шик
армейского сукна.

Как будто на парад...
Невесты при параде:

нашёлся бы жених,
а свадьба подождёт.
Есть время: до зимы
в блокадном Ленинграде,
и всем непризывным
пока ещё везёт.

Оркестр духовой.
На площади вокзальной
захочешь – не найдёшь,
где яблочку упасть.
Здесь папа закурил
перед дорогой дальней.
Потом была война.
И я не родилась.

Затишья приторный сырец
разбавил горечь самокрутки...

– Война преставилась, отец!
Уже пошли вторые сутки...

Уже третейские тылы
подразнивают всепрощеньем.
И медсанбат из-под полы
торгует крепким угощеньем.
Пропахли спиртом ордена,
омыты ратные заслуги.
Читает письма старшина,
сложивших головы за други.
Пылит пехота в стороне
за счастье петь нестроевые...

Остыли звёзды на броне,
как под исподним – пулевые.
И даже вшам не до седин,
сдают подсолнечные пряди...

– Не плачь, отец, ты взял Берлин!
Ты взял его! Будь он неладен...

На рубеже

Дождь призывает лес заговорить
за тех, кому не щуриться на солнце,
за тех, кто может Бога не гневить,
за тех, кому смириться остаётся
со временем, обязанным войне
неспешностью посмертных оборотов.
Дождю пора узнать и обо мне,
поросшему морошкой у болота.
В болоте обитают голоса
носителей проклятий на немецком.
Перед грозой сплетница-оса
успела притулиться по-соседски,
доверчиво все уши прожужжать
побасенками жизни насекомой.
А я уже отчаялся лежать
в семи верстах от собственного дома!
Я столько лет по воле проливных
улавливаю запахи жилища...
Хочу понять, как вышло, что своих
страна однофамильная не ищет?
Как вышло, что добротное село,
за пазухой намоленных преданий,
лишилось суматохи посевной,
и часа целомудренных свиданий,
и кривотолка бдительных сватов,
и рожениц обрадованных плача?
Как вышло так, что ветры у дворов
по тьме на волчий выводок батрачат?

Всё скажет лес от имени солдат,
которых мхи надёжно пеленали.
Здесь всякому победный звездопад
нетленные пожаловал медали.
И мы с тех пор не просим ни о чём,
помимо счастья воздухом напиться,
пока вода студёная течёт,
сквозь землю устремляющая к лицам
крупницы родниковые небес –
сто грамм любви положенных героям.
Намерен был увековечить лес
сомнения не вышедших из боя
и мой упрёк безмолвный «как же так?!»,
цеплявшийся за вымокшие стебли...

Но лес, сжимая крестников в кулак,
докладывает скупое: «Эти стерпят!»

Всполошилась самокрутка
над растресканной губой...

Вороньё кормилось жутко
дойной Курскою дугой.
Выволакивала пеших
жизнь на смертную тропу.
Дух крепчал в телах вспотевших,
прочил «гитлерукапут».

Деревенский говорочек
да столичный юморок...
Крыл солдатский сапожочек
каждый здешний бугорок.
Так сподобился заботы
беспримерно поспешать,
что оставшихся от роты
днём с огнём не отыскать.

У обозов санитарных
чёрт наяривал круги,
чтоб хранители державных
повзводили кулаки,
повыпячивали груди:
«Наша ноша, не замай!
В поле воин неподсуден.
Неподсудным светит Рай».

Под Господнюю трёхрядку
проучали чужака
те, с которых взятки гладки
на досрочные века,
те, которые хлебали
манну кухни полевой,
те, что отрапортовали
ангелам передовой.

Самокруточка вертлява:
не судьба попридержать!

Танки слева, танки справа,
по серёдочке – межа,
полнокровная земляца,
горя сладкий чернозём.
Вечно ветру-пехотинцу
пританцовывать на нём.